



# “Если слова болят...”

Бенедикт САРНОВ

ИСПОЛНИЛОСЬ 175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА

Но не краше и город богатый;  
Те же тучи по небу бегут;  
Жутко нервам — железной лопатой  
Там тепер мостовую скребут.

Начинается всюду работа;  
Возвестили пожар с каланчи;  
На позорную площадь кого-то  
Провезли — там уж ждут палачи.

Проститутка домой на рассвете  
Поспешает, покинув постель;  
Офицеры в наемной карете  
Скачут за город: будет дуэль.

Торгаши просыпаются дружно  
И спешат за прилавки засесть;  
Цельный день им обмивать нужно,  
Чтобы вечером сытно поесть.

Чу! из крепости грянули пушки!  
Наводные станицы грозят...  
Кто-то умер: на красной подушке  
Первой степени Анна лежит.

Дворник вора колотит — попался!  
Гонят стадо гусей на убой;  
Где-то в верхнем этаже раздался  
Выстрел — кто-то покончил с собой...

МАЯКОВСКИЙ, всю жизнь яростно рушивший старые, как ему казалось, полностью исчерпавшие себя художественные формы, однажды признал, что кое-что из всего этого, как он выразился, “старья” все-таки имеет шанс уцелеть:

Немолод очень лад баллад,  
Но если слова болят  
И слова говорят про то, что болят,  
Молодеет и лад баллад.

Кинув с этой точки зрения взгляд на классическую русскую литературу, мы, я думаю, не слишком уклонимся от истины, придя к выводу, что мало у кого — даже из величайших русских писателей и поэтов — слова болят так, как в стихах Николая Алексеевича Некрасова.

Говоря так, я менее всего имею в виду известные строки про его “бледную, в крови, кнутом иссеченную Музу” или про “крестьянку молодую”, которую били кнутом на Сенной площади и о которой поэт сказал, обращаясь к своей Музе: “Гляди! Сестра твоя родная!” Тут слова только лишь говорят про то, что болят. А болят они, и болят особенно мучительной, ноющей болью, в совсем других его стихах — тех, в которых он — как это и подбавляет лирическому поэту — прикасается к самым таинным, самым глубоким и не чужим, а своим душевным царпинам и травмам: “Я дворницкому нашему роду/ Блеска лирой своей не стяжал/ Я настолько же чуждым пароду/ Умираю, как жить начинал”.

Впрочем, границу тут провести очень трудно. В сущности, даже невозможно. Кто скажет, где кончается чужая боль и начинается своя хотя бы вот в этих его — гениальных! — строчках?

И пришлось нам нежданно-негаданно — окрестить молодого стрелка...  
Без церковного пенья, без лада, без всего, чем могила крепка...

Или вот в этой, как будто бы даже и не лирической, а откровенно эпической картине. Точнее, панораме, быстрой смене картин, или, как сказали бы мы сегодня, кадров:

Бесконечно унылы и жалки  
Эти пастбища, нивы, луга,  
Эти мокрые, сонные галки,  
Что сидят на вершине стога;

Эта кляча с крестьянином пьяным,  
Через силу бегущая вскачь  
В даль, сокрытую синим туманом,  
Это мутное небо... Хоть плачь!

Не то что луча, даже крохотной искорки света не мелькнет в этом царстве мрака. Кажется, есть даже какая-то нарочитость в этом отборе картин, привлекающих внимание поэта. Если скажут куда-то в наемной карете офицеры, так непременно чтобы стрелять друг в друга. Если гонят куда-то стадо гусей, так уж, конечно, на убой. Если кто-то удостоился награды (Анны первой степени), так и того в гробу везут. У Пушкина утро в городе начинается с того, что “идет разносчик, на биржу тянется извозчик”. У Некрасова утро начинается тем, что кого-то везут на площадь, где его уже ждут палачи. Даже когда просто счищают снег лопатой с мостовой — казалось бы, вполне обыденное и даже благое дело, — и то “жутко нервам”. И как последняя точка — выстрел самоубийцы “в верхнем этаже”.

Беспросветностью, подчеркнутой оторванностью несчастий, мерзостей и страданий панорама эта превосходит самые мрачные кошмары Достоевского. “Жесточкий талант” — назвал свою статью о Достоевском Н.К. Михайловский. Определенно это в полной мере может быть отнесено и к Некрасову. Ведь у Достоевского, когда Иван Карамазов рассказывает брату о несчастных детях, истязаемых родителями, мы чувствуем, что это не Ивана и даже не этих несчастных истязаемых детей, а его, Федора Достоевского, ужас, страдание и боль.

Вот так же и у Некрасова в мрачности, жестокости рисуемых им жизненных картин и сюжетов выразился не столько марк обступающей его со всех сторон реальности, сколько мрак, царящий в его душе.

БОЛЬ — это, быть может, главный (если не единственный) побудительный толчок для возникновения любого произведения искусства, и наличие, присутствие вот этого ощущения боли — едва ли не главная примета его художественной подлинности. Но для того, чтобы стихи, рожденные даже самой истинной болью, стали поэзией, нужна еще одна ма-

лая малость. Надо, чтобы боль пошла в слова.

В том, чтобы это произошло, чтобы боль, терзающая душу художника, стала и нашей болью, “болью для нас”, заключается, как говорил Блок, второе дело поэта. Надо, разъяснял он, “чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова... Это — область мастерства”.

Прочно укоренилось мнение, что в этом втором деле поэта Некрасов не слишком силен. Скорее даже — слаб.

За примерами тут далеко ходить не надо. Вот только что вышедшая, буквально вчера купленная мною книга Георгия Адамовича “С того берега”. Заглядываю в именную указатель, нахожу фамилию “Некрасов”, открываю обозначенные там страницы, читаю:

“Некрасов был подлинно великим поэтом, но если вычеркнуть из его поэм эти как бы золотом вышитые строки, эти издадека подготавливающие вскрики:

Волга! Волга!.. Весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля...

— что бы осталось от него, кроме сентиментальности и дурного стиля?”

“Некрасов — великий и могучий поэт, как бы промывавший свои “песни” и не нашедший для них слов, достойных напева”.

“Некрасова любили до слез, до тех “рыданий над книжкой”, о которых говорил, помнится, еще Треплев в “Чайке”, но любили вопреки мнению знатоков, дружно утверждавших, что поэзия в некрасовских стихах “и не ночевала”.

Мнением Адамовича, разумеется, можно и пренебречь. Но дело ведь не в Адамовиче. Он лишь повторил то, что постоянно твердили о Некрасове знатоки. Не только при жизни Николая Алексеевича, но и годы спустя после его смерти.

В 20-Е ГОДЫ К.И. Чуковский рассылал писателям-современникам “анкету о Некрасове”. На вопросы этой анкеты ответили (называю не всех, а только самых знаменитых): Горький, Блок, Маяковский, Ахматова, Мережковский, Волошин, Зинаида Гиппиус, Гумилев, Замятин, Вяч. Иванов, М. Кузмин, Пильняк, Ф. Сологуб, Н. Тихонов, Н. Асеев...

Прочитав этот перечень имен, естественно предположить, что в любви к Некрасову признавались писатели, которым по всем их литературным и гражданским позициям близка была знаменитая некрасовская формула: “Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”. Скажем, Горький, Маяковский, Асеев... Писатели же противоположного направления, тяготеющие к интимной лирике и изысканным поэтическим формам (Гумилев, Ахматова, Сологуб), казалось, должны были высказаться о поэзии Некрасова скорее скептически, а то и вовсе уничтожительно.

Предположение это, однако, подтверждается, как принято говорить в таких случаях, с точностью до наоборот.

Николай Асеев на все заданные ему

вопросы ответил, как принято нынче говорить, однозначно:

“Любите ли вы стихи Некрасова? — Нет.

Как вы относились к Некрасову в детстве? — Скучал над ним.

Не оказал ли Некрасов влияния на Вашу поэзию? — Решительно нет.

Какие стихи Некрасова любите Вы больше всего? — Никаких”.

Горький высказался не так категорично, но, в общем, похоже. На вопрос: “Любите ли Вы стихотворения Некрасова?” — ответил: “Не думаю, чтобы любил”. На вопрос: “Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дорожкой поэзии Пушкина?” — высказался так: “Нет. Не было. Пользовался им для агитации, но редко читал”.

На вопрос: “Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?” — ответил: “Не думаю”. А на провокационный вопрос: “Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, что в стихах Некрасова “поэзия не ночевала”?” — ответил скорее утвердительно: “Это не вполне правда, но близко к ней”.

Маяковский от серьезных вопросов Чуковского просто отшутился в духе известного анекдота, согласно которому на вопрос учителя, кто написал “Евгения Онегина”, ученик вздохнул: “Мне бы ваши заботы, господин учитель!” На вопрос: “Любите ли Вы стихи Некрасова?” — он ответил: “Не знаю. Подумаю по окончании гражданской войны”. И далее в таком же духе.

Иначе откликнулся на анкету Чуковского Александр Блок. В его ответах слышится глубокая, истовая серьезность: “Любите ли Вы стихотворения Некрасова? — Да. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова? — Не занимался ею. Люблю. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова “поэзия и не ночевала”?” — Тургенев относился к стихам, как иногда относился старые тетушки”.

То, что Блок не только высоко ценил, но и, как ясно видно из этих его ответов, искренне и глубоко любил стихи Некрасова, особого удивления не вызывает. Ведь именно в Блоке Некрасов обрел едва ли не самого подлинного своего приемника. (Я имею в виду не преемственность идей и настроений, а сходство звука, родство поэтического голоса. Особенно явно звучит этот голос в таких стихах Блока, как “Под насыпью, во рву, некошенном...”, “Опять, как в годы золотые...”, “Петроградское небо мутилось дождем...”)

Нет, Блок своими ответами на анкету Чуковского не удивил ничуть. Иное дело — Ахматова, Гумилев, Сологуб, Волошин.

Вот некоторые из их ответов. На вопрос: “Любите ли Вы стихотворения Некрасова?” — Сологуб отвечает: “Да”, Гумилев: “Да. Очень”, Ахматова: “Люблю”. Волошин: “Ценю и люблю”.

На вопрос: “Как Вы относитесь к утверждению Тургенева, что поэзия “в стихах Некрасова и не ночевала”?” — Сологуб отвечает: “Хладнокровно”, Волошин: “Тургеневская фраза о том, что “поэзия и не ночевала в стихах Некрасова”, меня всегда глубоко возмущала...”, Гумилев: “Прозаик не судья поэту”.

Но самое интересное даже не это.

ГУМИЛЕВ проявлял особый интерес к теории стиха, специально занимался этим предметом и даже вел с молодыми поэтами занятия по версификации. На одну из таких его лекций пришел Горький. Когда занятия кончились и слушатели разошлись, Горький спросил Гумилева (об этом со слов Анны Андреевны Ахматовой рассказывает в своих воспоминаниях С.И. Липкин):

— Николай Степанович! Вы в самом деле считаете, что все, о чем вы тут сейчас рассказывали, поэту надо знать?

Гумилев ответил, что да, надо. Даже необходимо.

— Подумать только! — удивился Горький. — А я обо всем этом и понятия не имею. А ведь я тоже писал стихи. И одно мое стихотворение имело даже довольно большой успех. “Буревестник”. Может, слышали?

— Припоминаю, — сказал Гумилев. — Четырехстопный хорей со сплошь женскими окончаниями. Размер — подражание “Гайавате”. Простите, Алексей Максимович, но ведь это совсем бесполезно. Помню, еще у вас где-то была такая строка: “Высоко в горы вполз уж...” Если бы вы посещали наши занятия, вы бы знали, что в строфе амфибрахия не может быть двух односложных слов. Это просто неграмотно...

Зная эту непреклонность Гумилева по части строгого соблюдения законов русского стихосложения, а также полную наивность (мягко говоря) Горького в этом деликатном предмете, можно было бы предположить, что на вопрос об отношении к стихотворной технике Некрасова Гумилев откликнется довольно-таки придирично, а Горький, напротив, выскажется скорее снисходительно. Или уйдет от ответа, сославшись на то, что не считает себя специалистом в этой области. Однако и это предположение — казалось бы, такое естественное! — тоже подтверждается “с точностью до наоборот”.

Горький в ответ на этот вопрос недовольно пробурчал: “Он рифмовал: “легко — легко”, “Петрополь — соболь”...” Гумилев же, напротив, разразился по поводу стихотворной техники Некрасова настолько панегриком: “Замечательно глубокое дыхание, власть над выбранным образом, замечательная фонетика, продолжающая Державина через голову Пушкина”.

А вот мнение на этот счет другого мэтра серебряного века — Максимилиана Волошина: “Как ни странно, Некрасов был для меня не столько гражданским поэтом, сколько учителем формы”.

ДА, НАВЕРНО, прав был Гумилев, сказав, что прозаик не судья поэту. Наверно, Тургенев и Горький ошиблись в Некрасове, потому что были прозаиками.

Но как тогда объяснить полнотью перечеркнувший поэзию Некрасова отзыв Асеева?

Да, прозаиком он не был, формально принадлежал к тому же “цеху”, что Волошин, Ахматова и Гумилев. Но он был — “мастер”, как однажды выразился о нем Мандельштам. “Вот Асеев — мастер! Он бы не задумался и сразу написал!” — с завистью воскликнул он, мучаясь над своей одой Сталину. Сомнительный комплимент этот означал, что пресловутое асеевское мастерство было чем-то автономным, не зависящим от того, что происходило с душой поэта. А ведь недаром Блок,

заговорив о втором деле поэта, тут же сразу и оговорился, что “никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно связано с другим...”

Вспоминая такой — на первый взгляд, курьезный — случай. Давид Самойлов, работая над своей “Книгой о русской рифме”, разослал поэтам-современникам небольшую анкетку, в которой был между прочим и такой простой вопрос: “Какие рифмы вы считаете удачными, какие — слабыми?” Совершенно замечательно, на мой взгляд, ответил на это Владимир Корнилов. “У хороших поэтов, — четко сформулировал он, — рифмы хорошие. У плохих — плохие”.

Может показаться, что он просто уклонился от серьезного ответа, отделавшись изящной остротой. На самом деле, однако, в этой нехитрой формуле заключен глубокий и точный смысл. В самом деле: плоха или хороша рифма “твое — мое”? Казалось бы, хуже не бывает. Это ведь все равно, что срифмовать “ботинки” и “полуботинки”. Но такая мысль почему-то даже не приходит нам в голову, когда мы читаем гениальное блоковское:

Что ж, пора приниматься за дело,  
За старинное дело свое. —  
Неужели и жизнь отшумела,  
Отшумела, как платье твое?

Хороша или плоха рифма “сделать бы жизнь с кого — Держинского”? Казалось бы, не просто хороша, а прямо-таки виртуозна! Но стихи от этой виртуозности тем не менее не выигрывают ничуть. И, ей-богу, дело тут совсем не в пошатнувшейся репутации “железного Феликса”.

Сравните эту мастерскую, изобретательную рифму Маяковского с той знаменитой некрасовской, над которой “знатоки” не устали глумиться на протяжении чуть ли не целого столетия:

Покоян, прочен и легок  
На диво слаженный возок...

Как легко и грациозно это простенькое двустишие, насколько естественнее, живее, а значит, и поэтичнее оно натузового, вымученного призыва Маяковского делать жизнь “с товарища Держинского”!

Присоединяясь к исчерпывающей формулировке Корнилова, я бы только чуть-чуть ее перефразировал, предпочитая говорить не о плохих и хороших поэтах, а о плохих и хороших стихах. Хорошие рифмы — в строчках, рожденных внутренним жестом поэта, движением его души. Плохие — в искусственных, “сделанных”, хотя бы даже и мастерски, виртуозно сделанных. А вот почувствовать эту разницу, отличить “сделанные” стихи от тех, в которых выразилась живая боль, выплеснувшаяся из души поэта, — это и в самом деле дано не каждому.

М.О. Гершензон в своей статье о пушкинском “Памятнике” заметил, что там у Пушкина “точно различны — 1) подлинная слава — среди людей, понимающих поэзию, — а таковы преимущественно поэты:

И славен буду я, доколь  
в подлунном мире  
Жив будет хоть один пиит;  
и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава — известность;  
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...”

Из этого, конечно, вовсе не следует, что по-настоящему понять и оценить поэта может только поэт. Гершензон не зря ведь дал понять, что речь тут у Пушкина идет, в сущности, о тех, кто понимает поэзию.

Как бы то ни было, Николай Алексеевич Некрасов удостоился не только той славы второго рода, которую Гершензон называет пошлой, но и настоящей, истинной славы — той, которая жива и будет жить до тех пор, пока на нашей земле “жив будет хоть один пиит”.